

ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

АЛЕКСЕЙ К. ТОЛСТОЙ

Русская культура

Алексей Толстой

**Царь Иван Грозный.
Избранные сочинения**

ТД "Белый город"

1863, 1866

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

Толстой А. К.

Царь Иван Грозный. Избранные сочинения / А. К. Толстой — ТД
"Белый город", 1863, 1866 — (Русская культура)

ISBN 978-5-485-00685-3

Русский писатель граф Алексей Константинович Толстой (1817–1875) оставил яркое литературное наследство в разных жанрах и посвященное разным темам. Одной из сквозных тем его литературной деятельности была эпоха Ивана Грозного, которой он посвятил свое лучшее прозаическое произведение, любимое многими поколениями читателей, свою лучшую трагедию и яркую критико-публицистическую статью, в которой он размышлял о постановке этой трагедии. Сторонник монархии, граф Толстой серьезно думал об опасности перерастания монархии в деспотию, о вине деспота перед народом и о развращающей все население страны атмосфере страха и принуждения.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-485-00685-3

© Толстой А. К., 1863, 1866
© ТД "Белый город", 1863, 1866

Содержание

Суд над царем-самодуром	6
Стихотворения	17
Василий Шибанов[16]	17
Князь Михайло Репнин[17]	21
Старицкий воевода[18]	24
Князь Серебряный	26
Предисловие	27
Глава 1	28
Глава 2	35
Глава 3	38
Глава 4	41
Глава 5	46
Глава 6	51
Глава 7	58
Глава 8	63
Глава 9	70
Глава 10	76
Глава 11	79
Глава 12	86
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Алексей Константинович Толстой

Царь Иван Грозный

© Строганов М.В., составление, подготовка текста, послесловие, 2022

© Издательство «Дарь», 2022

© Издательство ООО ТД «Белый город», 2022

Суд над царем-самодуром

В нашей культуре сложилось разделение писателей на первый и второй (а то и третий) ряды. Неправильное разделение. Бывают моменты, когда писатель первого ряда перестает отвечать на наши существеннейшие вопросы, а писатель второго ряда оказывается чуть ли не нашим современником, который знает всё, что происходит с нами сегодня, и говорит с нами на одном языке. И можно ли тогда ответить на вопрос, кто из них стоит в первом, а кто во втором ряду и кто из них для нас сейчас нужнее и актуальнее?

Именно таким представляется сегодня большой русский писатель граф Алексей Константинович Толстой, которого всегда любили читатели и который всегда оказывался на задворках истории литературы. Но ведь он был одним из создателей знаменитой литературной маски Козьмы Пруtkова – как ни верти, явления огромнейшего культурного значения. Уже одно из самых ранних его стихотворений навсегда останется в русской памяти своими двумя начальными строками:

Колокольчики мои,
Цветики степные...

Его умопомрачительно смешные, написанные еще в юношеские годы рассказы «Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов» и «О том, как юный президент Вашингтон в скором времени сделался человеком», к сожалению, почти никому не известны, хотя любому другому писателю они создали бы имя. Его роман «Князь Серебряный» кажется легкой сказкой для забавного чтения, а оказывается большим философским романом о власти и человеке.

В Интернете на одном из сайтов собраны сведения об изданиях «Князя Серебряного» с самого первого и до наших дней¹. Мы дополнили эти данные сведениями электронного каталога Российской национальной библиотеки, учитывая только либо отдельные издания романа «Князь Серебряный», либо авторские сборники, которые названы по этому роману, но не учитывая сокращенные издания, переделки, издания для народа, подражания с тем же самым названием, драматические переделки. В результате сложилась следующая картина (в скобках мы указываем издательство, для России – без указания города): до 1917 г. – 12 изданий: 1862 (тип. Каткова и К°), 1863 (Д.Е. Кожанчиков), 1869 (тип. Ф. Сущинского), 1878 (тип. М. Стасюлевича), 1880 (тип. Ф. Сущинского), 1892 (В.Г. Готье), 1899 (изд. книжного склада М.М. Стасюлевича), 1907 (С.П. Хитрово), 1908 (С.П. Хитрово), 1909 (С.П. Хитрово), 1913 (П.В. Луковников), 1916 (П.В. Луковников);

1920–1940-е – 4 издания: 1921 (Прага, Славянское изд-во; Берлин, И.П. Ладыжников), 192? (Берлин, Литература), 1945 (Париж, б. и.);

1950-е – 4 издания: 1957 (Смоленское кн. изд-во), 1958 (Смоленское кн. изд-во; Киргизское гос. изд-во), 1959 (Детгиз);

1960-е – 4 издания: 1960 (Московский рабочий), 1961 (Московский рабочий), 1966 (Художественная литература; Кабардино-балкарское кн. изд-во);

1970-е – 5 изданий: 1976 (Художественная литература), 1977 (Художественная литература), 1978 (Средне-Уральское кн. изд-во), 1979 (Вышэйшая школа, Минск; Московский рабочий);

1980-е – 20 изданий: 1980 (Ниже-Волжское кн. изд-во; Московский рабочий; Красноярское кн. изд-во; Чечено-Ингушское кн. изд-во; Правда; Советская Россия), 1981 (Детская лите-

¹ Князь Серебряный Алексей Толстой // Издания и произведения; livelib.ru; <https://www.livelib.ru/book/698651/editions>.

ратура), 1982 (Мордовское кн. изд-во), 1983 (Лениздат; Южно-Уральское кн. изд-во), 1984 (Мастацкая літаратура, Минск), 1985 (Приокское кн. изд-во), 1986 (Художественная литература; Чувашское кн. изд-во; Верхне-Волжское кн. изд-во; Калининградское кн. изд-во), 1987 (Советская Россия; Художественная литература), 1988 (Коми кн. изд-во); 1989 (Выща школа, Изд-во при Харьк. гос. ун-те, Харьков);

1990-е – 11 изданий: 1990 (Башкирское кн. изд-во), 1991 (Баян; Восточно-Сибирское кн. изд-во), 1992 (Пермская книга; Детская литература), 1993 (Просвещение; Современник; Пересвет), 1994 (Ставропольский фонд культуры), 1995 (Приморский полиграфический комбинат; Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края);

2000-е – 19 изданий: 2000 (ЭКСМО-пресс), 2001 (АСТ, Олимп), 2004 (Ардис, аудиокнига), 2005 (АСТ; Эксмо), 2006 (Издание Патриаршего Подворья храмов Тихвинской иконы Божией Матери и Святителя Алексия, митрополита Московского при ЦКБ свт. Алексия; Весть; Аудиокнига), 2007 (Комсомольская правда; Захаров, Богат; АСТ, Харвест; Русское слово; Издательский дом Мещерякова; МедиаКнига, 1С-Паблишинг, аудиокниги), 2008 (Эксмо; Мир книги, Литература ISBN 978-5-486-01786-5; Мир книги, Литература ISBN 978-5-486-02289-0; Издательский дом Мещерякова), 2009 (Русское слово)

2010-е – 27 изданий: 2010 (Ламартис; Мир книги, Литература; Русское слово), 2011 (Вече), 2012 (Астрель; Русское слово – учебник; Лениздат, Команда А), 2013 (De Agostini; Лениздат, Команда А; Эксмо; Азбука, Азбука-Аттикус), 2014 (Комсомольская правда; Лениздат, Команда А; Детская литература; Никея; АСТ), 2015 (Директ-Медиа), 2016 (АСТ), 2017 (De Agostini; Алтей; Детская литература; Время; Терра, Книжный клуб Книговек), 2018 (Речь; Детская литература; Азбука, Азбука-Аттикус), 2019 (Выдавец В. Хурсік, Минск);

2020-е – 2 издания: 2020 (Эксмо), 2021 (АСТ).

Совершенно очевидно, что в данной динамике отражаются разные причины, в том числе и абсолютно внешние по отношению к художественным достоинствам романа Толстого. Но если бы у романа Толстого не было этих пресловутых «художественных достоинств», он никогда не стал бы таким популярным и востребованным. Можно раскручивать сочинения Ф.В. Булгарина (да и его самого), но заставить читателя покупать его книги нельзя. Значит, что-то есть в этом Алексее Толстом, что еще ускользает от наших оценок и что обязательно требует более точных определений.

* * *

Граф Алексей Константинович Толстой родился 24 августа 1817 г. в Петербурге, в родовой и разносторонне культурной дворянской семье. Его отец граф Константин Толстой был советником Государственного ассигнационного банка, а брат отца Федор Толстой был известным художником, автором популярной серии медальонов на темы Отечественной войны 1812 года. У Федора Толстого было две дочери, двоюродные сестры Алексея Толстого: одна – писательница Мария Каменская, другая – художница и мемуаристка Екатерина Юнге. Матерью Алексея Толстого была Анна Алексеевна Перовская, внебрачная дочь графа А.К. Разумовского. Сразу после рождения сына она разошлась с мужем и жила в имении своего брата Алексея Алексеевича Перовского, писателя, известного под псевдонимом Антоний Погорельский, который сочинил для племянника сказку «Черная курица, или Подземные жители» о приключениях мальчика Алеши, любимую и популярную до сих пор. Сестра матери Алексея Толстого, Ольга Перовская, сама стала матерью известного художника Льва Жемчужникова и писателей Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых, двоюродных братьев Алексея Толстого, – все вместе они создали коллективную маску Козьмы Пруtkова. А графу Льву Николаевичу Толстому Алексей Толстой приходился троюродным братом. Родственные связи Толстого – это связи еще и художественные; можно сказать, что и жил он в среде искусства.

Неудивительно поэтому, что еще в детском возрасте, на рубеже 1830–1840-х гг. он начинает сочинять. Первыми его произведениями были написанные на французском языке рассказы «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет». А в 1841 г. он уже напечатал отдельной книгой повесть «Упырь» под псевдонимом Краснорогский (по названию своего имения Красный Рог, как дядя Перовский стал Погорельским от имения Погорельцы). Все это были отзвуки позднего романтизма, скрашенного, правда, большой долей скепсиса и иронии, недаром помимо этих произведений юный Толстой сочинил уже упомянутые нами рассказы о «философе без огурцов» и «юном президенте Вашингтоне». В 1843 г. Толстой опубликовал и первое свое стихотворение. Сам Толстой так оценивал свое положение в письме к будущей жене от 14 октября 1851 г.

«Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником. <...>

Но если ты хочешь, чтобы я тебе сказал, какое мое настоящее призвание, – *быть писателем*»².

«Сделаться вполне художником» молодому графу мешали те же родственные связи, которые вводили его не только в литературные ряды, но в круги владетельных и царственных особ, чему, вполне естественно, радовалась мать. Будучи в 1827 г. с матерью и дядей за границей, он был представлен в Веймаре будущему великому герцогу Саксен-Веймарскому и Эйзенахскому Карлу-Александрю. А еще в 1826 г. Алексей Толстой был представлен цесаревичу и великому князю Александру Николаевичу и вскоре по рекомендации В.А. Жуковского был определен «товарищем для игр» будущего императора, вместе с которым проводил время в России и за границей. Фактически Алексей Толстой стал совоспитанником Александра II до его совершеннолетия (1834), после чего был зачислен на государственную службу в Московский главный архив Министерства иностранных дел «студентом», что позволило ему в декабре 1835 г. сдать экстерном выпускной экзамен в Московском университете для получения аттестата на право чиновника первого разряда. После этого служебно-чиновная карьера Алексея Толстого как по маслу катилась. В начале 1837 г. он состоял «сверх штата» в русской миссии при германском сейме во Франкфурте-на-Майне, а в конце этого года перевелся в Петербург в Департамент хозяйственных и счетных дел. Толстой быстро проходит ступени чиновничества: губернский секретарь (1839), коллежский секретарь (1840), титулярный советник (1842), камер-юнкер (1843), надворный советник (1846), церемониймейстер (1851) и егермейстер (1861) императорского двора. В день своей коронации 26 августа 1856 г. Александр II произвел своего бывшего товарища по детским играм и учебе в полковники и назначил его флигель-адъютантом, а вскоре поручил ему и делопроизводство секретного отдела о раскольниках.

Но близость к императору, не сделала Толстого искателем чинов и жизненных выгод, и в том же письме он писал:

«Вообще вся наша администрация и общий строй – явный неприятель всему, что есть художество, – начиная с поэзии и до устройства улиц...

Я никогда не мог бы быть ни министром, ни директором департамента, ни губернатором. <...>

...Так знай же, что я не *чиновник*, а *художник*»³.

И еще:

«Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником; что мне остается сделать, если не заснуть? Правда, что не *следует* засыпать и что нужно искать другой круг

² Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. М.: Правда, 1969. С. 267–268.

³ Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. М.: Правда, 1969. С. 267–268.

деятельности, более полезный, более, очевидно, полезный, чем искусство; но это перемещение деятельности труднее для человека, родившегося художником, чем для другого...»⁴

А вот в самый день коронации и назначения полковником и флигель-адъютантом, которого Толстой пытался, но не смог избежать:

«...Все для меня кончено, мой друг, сегодня моя судьба решилась; сегодня – день коронации... В этой общей тьме одна мысль является передо мной лучом света; может быть, я сумею из этой ночи, в которой все должны ходить с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, вывести на Божий свет какую-нибудь правду, идя *напролом* и с мыслью, что *пан или пропал!* Но если положительно я увижу, что в будущем я ничего не могу сделать, – мне кажется, будет грешно перед самим собой продолжать жизнь в направлении, диаметрально противоположном своей природе, и тогда, вернувшись к собственной жизни, я начну в 40 лет то, что я должен был начать в 20 лет, т. е. жить по влечению своей природы...

Я знаю, что может быть полезно даже ради истины лавировать и выжидать, но я не довольно ловок для этого: всякий должен лишь действовать по своим *дарованиям* <...>; в моих дарованиях я чувствую только одну возможность действовать – *идти прямо к цели*. Чем скорее я пойму возможность или невозможность мне быть полезным, тем будет лучше»⁵.

Не удивительно, что уже в 1861 г. Толстой выходит в отставку, при этом пишет следующее письмо императору:

«Государь, служба, *какова бы она ни была*, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое *литературное дарование*, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель. Это не новое для меня призвание; я бы уже давно отдался ему, если бы в течение известного времени (до сорока лет) не насиловал себя из чувства долга, считаясь с моими родными, у которых на это были другие взгляды. Итак, я сперва находился на гражданской службе, потом, когда вспыхнула война, я, как все, стал военным. После окончания войны я уже готов был оставить службу, чтобы всецело посвятить себя литературе, когда Вашему величеству угодно было сообщить мне через посредство моего дяди Перовского о Вашем намерении, чтобы я состоял при Вашей особе. Мои сомнения и колебания я изложил моему дяде в письме, с которым он Вас знакомил, но так как он еще раз подтвердил мне принятое Вашим величеством решение, я подчинился ему и стал флигель-адъютантом Вашего величества. Я думал тогда, что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. *Служба и искусство несовместимы*, одно вредит другому, и надо делать выбор. Большой похвалы заслуживало бы, конечно, непосредственное деятельное участие в государственных делах, но призвания к этому у меня нет, в то время как другое призвание мне дано. Ваше величество, мое положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом.

Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того, чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определившимся путем и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях. Что же касается до Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе, и я счастлив, что могу предложить его Вам: это средство – *говорить во что бы то ни стало правду*, и это – единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требую-

⁴ Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. М.: Правда, 1969. С. 275–276.

⁵ Там же. С. 280–281.

щая мундира. Я не был бы достоин ее, государь, если бы в настоящем моем прошении прибегал к каким-либо умолчаниям или искал мнимых предлогов.

Я всецело открыл Вам мое сердце и всегда готов буду открыть его Вам, ибо предпочитаю вызвать Ваше неудовольствие, чем лишиться Вашего уважения. Если бы, однако, Вашему величеству угодно было предоставить право приближаться к особе Вашего величества только лицам, облеченным официальным званием, позвольте мне, как и до войны, скромно стать камер-юнкером, ибо мое единственное честолюбивое желание, государь, – оставаться Вашего величества самым верным и преданным подданным»⁶.

Получив при отставке чин действительного статского советника, Толстой только изредка наезжает в столицу. Еще зимой 1850–1851 гг. Толстой познакомился с женой конногвардейского ротмистра Софьей Андреевной Миллер (урожденной Бахметевой, 1827–1892), полюбил ее, но отношения долго не налаживались. Только в 1855 г., когда во время Крымской войны Толстой вступил добровольцем (тогда говорили «охотником») «стрелкового полка Императорской фамилии» и едва не умер от тифа (почему и не участвовал в военных действиях), Софья Андреевна стала открыто ухаживать за ним. Так начался их гражданский брак, а венчались они только в 1863 г. в Лейпциге, так как и мать Толстого относилась к ней недоброжелательно (забыв, что сама родилась вне церковного брака, а к тому же и бросила мужа), а муж Софьи Андреевны не давал ей развода. Толстой жил с женой или в усадьбе Пустынька на берегу реки Тосны под Петербургом, или в родовом селе Красный Рог Мглинского уезда Черниговской губернии. А в 1860–1870 гг. они много времени проводили в Европе.

В молодости Алексей Толстой отличался замечательной силой, которую отмечают все современники. В детстве он сажал цесаревича себе на плечи и бегал так по коридорам Зимнего дворца. Став взрослым, он поднимал одной рукой человека, ломал палки о мускулы руки, скручивал винтом кочергу и серебряные вилки. Толстой играл своим здоровьем, но (видимо, в качестве осложнения после тифа) со второй половины 1850-х гг. у него стали развиваться астма и какие-то другие болезни. Болезням этим он, как очень часто поступают изначально здоровые люди, не придавал большого значения. Он пытался лечить их, но то ли делал это не систематично, то ли лечение велось неправильно, и он не получал необходимого облегчения (если не избавления от болезни). Под конец Толстой стал заглушать болезненные припадки приемом наркотических средств, что в его время считалось достаточно безобидным занятием. Находясь в своем любимом селе Красный Рог, 28 сентября 1875 г. Толстой во время очередного приступа головной боли по привычке ввел себе дозу морфия, который принимал по предписанию врача. Но не рассчитал: доза оказалась слишком большой, что и стало причиной его смерти. Здесь, в Красном Роге (ныне Почепский район Брянской области), где Толстой провел свои детские годы, куда он неоднократно возвращался в зрелом возрасте, его и похоронили. Здесь в 1967 г. началось (практически с нуля) восстановление музея-усадьбы Алексея Толстого.

* * *

Толстой страстно любил творчество и понимал его как воплощение свободы человеческого духа. Человек-творец волен и прекрасен в своих проявлениях, потому что повторяет своим творчеством действия Бога-творца. Но именно поэтому он отказывался от службы, и именно поэтому он на самом деле постоянно высмеивал опрометчивые шаги то одной, то другой партии, шаги, которые были направлены на подавление и уничтожение противника. И именно поэтому он, бывало, и защищал противников; так, в 1865 г. он ходатайствовал перед

⁶ Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. М.: Правда, 1969. С. 311–312. Дядя – Л.А. Перовский (1792–1856); в 1841–1852 гг. министр внутренних дел, в 1852–1856 гг. министр уделов.

Александром II о смягчении наказания для Н.Г. Чернышевского, хотя несколько не сочувствовал ни его литературной деятельности, ни самой его личности. Это ходатайство привело к обострению личных отношений Алексея Толстого с императором. А вот что он писал своему многолетнему confidentу писателю Б.М. Маркевичу в 1868 г., с которым он, однако, разошелся по многим вопросам литературы и общественной жизни:

«В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, презираю ее как пустую гильзу, тысяча чертей! как разяву у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал! Не моя вина, если из того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма! Это всегда будет явствовать из всякого художественного творения, даже из симфонии Бетховена. Я терпеть не могу деспотизм, так же как терпеть не могу *<имя вырезано из письма>*, Сен-Жюста, Робеспьера и *<имя вырезано из письма>*. Я этого не скрываю, я это проповедую вслух, да, господин Вельо *<и.о., директор почтового департамента>*, я это проповедую, не прогневайтесь, господин Тимашев *<А.Е., министр внутренних дел>*, я готов кричать об этом с крыш, но я – слишком художник, чтобы начинать этим художественное творение, и я – слишком монархист, да, господин Милютин *<Н.А., статс-секретарь по делам Царства Польского>*, я – слишком монархист, чтобы нападать на монархию.

Скажу даже: я слишком художник, чтобы нападать на монархию. Но что общего у монархии с личностями, носящими корону? Шекспир разве был республиканцем, если и создал “Макбета” и “Ричарда III”? Шекспир при Елизавете вывел на сцену ее отца Генриха VIII, и Англия не рухнула. Надо быть очень глупым, господин Тимашев, чтобы захотеть приписать императору Александру II дела и повадки Ивана IV и Федора I. И, даже допуская возможность такого отождествления, надо быть очень глупым, чтобы в “Федоре” усмотреть памфлет против монархии. Если бы это было так, я первый приветствовал бы это запрещение. Но если один монарх – дурен, а другой – слаб, разве из этого следует, что монархи не нужны? Если бы было так, из “Ревизора” следовало бы, что не нужны *городничие*, из «Горя от ума» – что не нужны чиновники, из “Тартюфа” – что не нужны священники, из “Севильского цирюльника” – что не нужны опекуны, а из “Отелло” – что не нужен брак...»⁷

И о том же – в письме к итальянскому писателю А. Губернатису от 20 февраля (4 марта) 1874 г. (перевод с французского):

«Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить то, что низко, но унижить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить еще к этому ненависть к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии. Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой пропаганды.

Эта точка зрения прямо противоречит доктрине, царящей в наших журналах, и потому, делая мне честь считать меня главным представителем враждебных им идей, они осыпают меня бранью с пылом, достойным лучшего применения. Наша печать почти целиком находится в руках теоретиков-социалистов, поэтому я являюсь мишенью для грубых нападок со стороны многочисленной клики, у которой свои лозунги и свой заранее составленный проскрипционный список. Читающая же публика, наоборот, высказывает мне несомненное расположение.

⁷ Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. М.: Правда, 1969. С. 342–343.

Моим первым крупным произведением был исторический роман, озаглавленный «Князь Серебряный». Он выдержал три издания, его очень любят в России, особенно представители низших классов. Имеются переводы его на французский, немецкий, английский, польский и итальянский языки. Последний, сделанный три года назад веронским профессором Патуцци в сотрудничестве с одним русским, г-ном Задлером, появился в миланской газете «La perseveranza». Он очень хорош и выполнен весьма добросовестно. Затем мною была написана трилогия «Борис Годунов» в трех самостоятельных драмах, первая из которых, «Смерть Иоанна Грозного», часто шла на сцене в С.-Петербурге, а также в провинции, где она, впрочем, запрещена в настоящее время циркуляром министра внутренних дел. Шла она с большим успехом и в Веймаре в прекрасном немецком переводе г-жи Павловой. Существуют ее переводы на французский, английский и польский языки. Вторая часть трилогии, «Царь Федор» (переведенная на немецкий и на польский), была запрещена для постановки, как только появилась в печати. Это – самое лучшее из моих стихотворных и прозаических произведений, и в то же время оно вызвало больше всего нападков в печати. В связи с этим я должен упомянуть выпущенную мною брошюру, где даны указания к ее постановке и где, между прочим, опровергнуты доводы, на основании которых она была запрещена для сцены. Третья часть трилогии называется «Царь Борис»; на сцену она тоже не была принята. <...>

Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, в то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером»⁸.

В этом письме Толстой сам формулирует ту самую концепцию, которая и лежит в основе всех его произведений об Иване Грозном: и его исторических баллад, и романа, и трагедии о смерти Ивана Грозного. Слабые места этой концепции были жестко и точно обозначены М.Е. Салтыковым в рецензии на роман «Князь Серебряный»⁹, стилизованной как хвалебный отзыв отставного учителя начала века. И на самом деле, формы подачи материала казались устаревшими: исторический роман в это время двигался в направлении, которое привело в скором времени к «Войне и миру» Л.Н. Толстого. Само посвящение романа императрице Марии Александровне, жене Александра II, выглядело глубокой архаикой, напоминая XVIII век. Салтыковская критика справедлива. Но роман читали и читают. И, видимо, будут еще долго читать. Почему? В чем же сила концепции этого романа?

* * *

Первое сильнейшее ее место в том, что она высказана не противником монархии, но искренним монархистом. Если бы деспотизм (на современном языке мы говорили бы *тоталитаризм*) критиковал демократ, он поневоле смешивал бы деспотизм с монархией, предпочитая им народовластие. Толстой не смешивает эти явления, он не считает (и справедливо), что деспотизм является непременно следствием монархии. И эта позиция убеждает читателя.

Второе сильнейшее место концепции Толстого обусловлено тем, что деспотизму противопоставлена не какая-то четко сформулированная политическая программа, а, напротив, очень расплывчатая, пожалуй, даже наивная, политически беспомощная точка зрения, точка зрения просто доброго человека, живущего по правде, по родительскому завету, по Божьему закону и вовсе не по тому или иному указу современного правителя. Князь Серебряный – это какой-то русский гурон XVI века.

Эти два «сильнейшие места» делают «Князя Серебряного» и другие сочинения Толстого о Грозном не конкретно-историческим выступлением человека определенной партии и позво-

⁸ Толстой А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. IV. М.: Правда, 1969. С. 394–395.

⁹ «Князь Серебряный» А. Толстого // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 5: Критика и публицистика. 1856–1864. М.: Художественная литература, 1966. С. 352–362.

ляют людям других эпох и иных политических убеждений найти в его героях мысли, созвучные им.

Эти два «сильнейшие места» были поддержаны тем, что Толстой ориентировал свой роман на народную точку зрения, на народную правду. Толстой, может быть, даже перегружает роман пословицами и поговорками: «один в поле не воевода», «на безрыбье и рак рыба», «один-то ум хорош, а два лучше», «своя рубаха ближе к телу», «утро вечера мудренее», «нашла коса на камень», «вольному воля, спасенному рай», «на нет и суда нет», «береженого коня и зверь не вредит», «то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый», «на то щука в море, чтобы карась не дремал», «рыба ищет где глубже, а наш брат – где место крепче», «иди куда поведут, а не спрашивай: куда?», «взялся за гуж, не говори: не дуж; попятышься назад, раком назову», «двух смертей не бывать, одной не миновать», «в поле и смерть красна», «бьюсь как щука об лед», «у сокола свой лёт, у лебедя свой», «чем богаты, тем и рады», «чем бог послал», «не было б им ни дна, ни крыши», «ты попадешь как смола на уголья», «кречет соколам не помеха», «чему быть, того не миновать», «и в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся», «словно снег на голову», «ни дна, ни крыши», «с неба свалился», «провалиться бы тебе сквозь землю», «ворон ворону глаз не выклюет», «да ведь ухватом из поломя горшки вымаются, а бывают инольды, и зернышко из-под жернова цело выскочит», «при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает», «далеко в лесу стукнет, близко отзовется», «мотай себе на ухо», «много слышится, мало сказывается», «голод не тетка», «жалует царь, да не жалует псарь», «один-то ум хорош, а два лучше», «дураками свет стоит», «кто старое помянет, тому глаз вон». При этом очень часто автор или персонажи прямо указывают на то, что они цитируют народную мудрость: «по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами», «Пословица говорит: пешего до ворот, конного до коня провожают», «Но они утешались пословицей, что заклад с барышом угол об угол живут», «недаром пословица говорит: долг платежом красен», «по сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей», «ведь и капля, говорят, когда все на одно место капает, так камень насквозь долбит».

Толстой вообще постоянно ссылается на точку зрения, выраженную в произведениях устного народного творчества. Он сознательно ориентируется на историзм фольклора. Вспомнившая историческую песню «Гнев Грозного на сына», Толстой замечает, что она, «может быть и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того времени». А потом добавляет: «Так гласит песня; так было на деле. Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича долго после 1565 года». И еще: «Что делал царь во всё это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века». Именно в историзме фольклора Толстой ищет обоснование позиции наивного противника деспотизма. Со строго исторической точки зрения это, конечно, ошибка: такого наивного противника деспотизма не было ни в эпоху Грозного, ни в его собственное время. Но с поэтической точки зрения такое решение вопроса оказалось очень продуктивным, актуализировав роман через сто лет и переведя его из статуса архаики, куда его относил М.Е. Салтыков, в статус животрепещущей современности, каким он представился А.Н. Немзеру¹⁰.

Как известно, главный герой романа Толстого носит фамилию полководца времен Иоанна Грозного князя Петра Семеновича Серебряного-Оболенского, а имя и отчество воеводы князя Никиты Романовича Одоевского, которого Иоанн IV казнил в 1577 г. вместе с боярином Михаилом Яковлевичем Морозовым. Никитой Романовичем звали также и брата первой жены Иоанна Анастасии – Захарьина-Юрьева. Этот Никита Романович как положительный персо-

¹⁰ Толстой А.К. Князь Серебряный: повесть времен Иоанна Грозного / Сопроводит. статья Андрея Немзера. М.: Время, 2017.

наж изображен в народных исторических песнях «Кострюк» и «Гнев Грозного на сына». Толстой изобразил его под своей фамилией в «Смерти Иоанна Грозного».

Для того чтобы понять «Князя Серебряного», следует учитывать, что его любовный сюжет имеет ряд весьма любопытных параллелей с сюжетом пьесы И.И. Лажечникова «Опричник»¹¹. Как и у Лажечникова, в романе Толстого действие разворачивается вокруг любовной коллизии, причем в обоих произведениях девушка неволей (у Лажечникова по приказу отца, у Толстого – из-за домогательств немилуго) посватана или вышла замуж за человека преклонных лет, хотя давно уже любит другого – своего ровесника, который только что вернулся из похода. Этот молодой человек принадлежит к земщине, он уважаемый боярин, и ему претят обычаи опричнины. Вместе с тем оба героя: Морозов Лажечникова и Серебряный Толстого – имеют крестовых братьев в рядах опричников, которые, вопреки исторической правде, отличаются мягкостью (Максим Скуратов и Федор Басманов). На толстовского Морозова Грозный приказывает надеть кафтан умершего шута князя Гвоздева, чтобы унижить непокорного земского боярина. Морозов Лажечникова сам с горечью спрашивает: не умер ли князь Гвоздев и нельзя ли ему занять это шутовское место. У Лажечникова герой вступает в опричники, чтобы добыть любимую и наказать обидчика – ее отца, лишившего его с матерью наследственного имени. У Толстого в подобном положении оказывается не князь Серебряный, а князь Вяземский. В начале романа Толстой говорит, что Вяземский вступил в опричники для того, чтобы добиться Елены Дмитриевны (как следует полагать, имя героини отсылает к «Песне про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова, героиню которого зовут Аленой Дмитриевной). Совершается и похищение невесты с девичника: у Толстого это делает Вяземский, а у Лажечникова – Серебряный.

Совпадают и имена персонажей: вымышленные герои обоих произведений носят фамилии Морозовых, Серебряных (у Лажечникова Серебряный на сцене не появляется, зато есть Жемчужный). Князь Серебряный уже и раньше встречался в художественных произведениях, связанных с именем Ивана Грозного, таковы повесть А.А. Бестужева (Марлинского) «Наезды» (1831) и драма Н.И. Филимонова «Князь Серебряный, или Отчизна и любовь» (1841)¹². Сходство между Лажечниковым и Толстым можно, конечно, объяснить обращением обоих авторов к одному и тому же источнику – к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, и связь эту оба писателя не только не скрывают, но даже подчеркивают в своих произведениях. Но нельзя не отметить, что Карамзин не описывает подобного рода любовные коллизии.

Есть в обоих произведениях и еще одно сходство, которое трудно объяснить общими источниками. Это сцена прихода к царю Иоанну Грозному двух слепых певцов-сказителей. В «Опричнике» Лажечникова они сначала рассказывают (причем царь выбирает) сказку про царя Вахрома, поедавшего детей и запивавшего кровью, а потом по приказу царя играют «Давидову песнь», которая называется также «духовной песнью», под которую царь и засыпает. В романе Толстого к Ивану Грозному также приходят два якобы слепых певца – разбойники, чтобы выкрасть у него ключи от подвала, где заключен князь Серебряный. Эти «слепцы», так же как настоящие слепцы у Лажечникова, рассказывают сначала былину (причем царь выбирает сюжет), а потом читают духовный стих, под который царь якобы засыпает.

Думается, что сходство этих двух сцен, как и мотивно-образное сходство обоих произведений в целом не случайно. Толстой начал работу над романом еще в конце 1840-х гг. и какие-

¹¹ В свое время Н.К. Михайловский отметил другой сквозной сюжет в связи с Иваном Грозным – сюжет «царской невесты»: Михайловский Н.К. Критические опыты. Т. 3: Иван Грозный в русской литературе; Герой безвременья. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1894. С. 59–67.

¹² *Филимонов Н.И.* Князь Серебряный, или Отчизна и любовь: Драма в четырех действиях в стихах. Содержание заимствовано из повести «Наезды»; представлена в первый раз на Александринском театре 10 ноября 1841 года в пользу актрисы г-жи Самойловой. Музыка А.Е. Варламова // Пантеон русского и всех европейских театров. 1841. Ч. 2. Кн. 6. С. 1–38.

то фрагменты своего романа читал Н.В. Гоголю и А.О. Смирновой в Калуге уже в 1850 г.¹³, но в письмах 1855–1856 гг. он говорит о романе как о произведении незаконченном. И только в 1859–1861 гг. Толстой завершает роман, хотя и на этом этапе работает, как обычно, не торопясь. Как известно, Лажечников не препятствовал распространению «Опричника» в рукописи, так как, потерпев неудачу с публикацией драмы и постановкой ее на сцене, он всё же хотел, чтобы пьеса дошла до читателя. Поэтому вполне вероятно, что Толстой мог знать «Опричника» еще в 1840-е гг. и строить свой роман как опыт иного разрешения общей с Лажечниковым художественной задачи. Но возможно, что все эти совпадения появились только в 1859 г., когда Толстой познакомился с пьесой Лажечникова в печати: так долго не дававшийся ему сюжет романа он быстро и удачно простроил с помощью вновь прочитанной пьесы. При этом следует отметить, что оба писателя близки друг другу именно в политическом осмыслении эпохи Иоанна Грозного: здесь у них различий нет. Но Толстой хотел дать дополнительную мотивировку такому характеру, каким был Морозов у Лажечникова и каким он мечтал видеть самого себя и своего князя Серебряного.

Когда так сравниваешь роман Толстого с драмой Лажечникова и другими близкими произведениями, поневоле думаешь: а ведь Толстому не так много пришлось и сочинять. Верно: пришлось ему сочинять не так много. Но сила его в том, что он изумительно удачно сложил уже готовые кубики народного и авторского происхождения и построил из них такую композицию, которой до него не было.

Ивану Грозному принадлежит выражение, которое можно было бы назвать крылатым, если бы не грозный смысл его: «А жаловати есмя своих холопей волны, а и казнити волны же есми были»¹⁴, – так писал он в первом послании к князю Курбскому в июле 1564 г. Герои романа Толстого полностью согласны с этим убеждением, и князь Серебряный говорит: «Впрочем, чему дивиться. Царь волен казнить своих злодеев!» И боярин Морозов отвечает ему: «Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых...» И сам Грозный говорит так: «...напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево в руке Божией, говорит писание».

Для читателя XIX в. это изречение напоминало слова самодура, героя А.Н. Островского из комедии «Свои люди – сочтемся»: «Не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое детище: хочу с кашей съем, хочу масло пахтаю». А Н.К. Михайловский писал об этом так: «Изречение Калигулы: “мне позволено всё относительно всех” и любимая мысль Грозного: “жаловать своих холопов мы вольны, а и казнить вольны же” – тождественны»¹⁵.

И мы продолжаем читать сочинения Толстого о Грозном.

М.В. Строганов

¹³ Русская старина. 1886. № 12. С. 520–521.

¹⁴ Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М.: Художественная литература, 1986. С. 34, 35.

¹⁵ Михайловский Н.К. Критические опыты. С. 112.



И.Е. Репин. Портрет А.К. Толстого

Стихотворения

Василий Шибанов¹⁶

Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь, конь измученный пал.
Как быть среди ночи туманной?

Но рабскую верность Шибанов храня,
Свое отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешой не отстану!»

И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода;
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает,
Недаром дивится литовский народ
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом!»

Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;
Готовится Курбский царю перечесть
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,
То все я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо!»

¹⁶ Впервые: Русский вестник. 1858. № 9. Кн. 1. С. 1236–1240, подзаголовок «Баллада». Источник – «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Курбский «ночью тайно вышел из дому, перелез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Там воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к царю; усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю в Москве, на Красном крыльце, сказав: “От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича”. Царь ударил его «ногу острым жезлом своим; кровь лилася из язвы; слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского... Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Доброжелательный слуга именем Василий Шибанов... не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает» (История государства Российского. Т. 9. СПб., 1821. С. 59–62). В строфах 11–12 цитируются письмо Курбского к Ивану Грозному: «Прочто, царю, сильных во Израиле побил еси?.. Не прегордые ли царства разорили и подручных во всем тебе сотворили, мужеством храбрости их... Не претвердые ли грады германские тщанием разума их от бога тебе даны бысть?.. Или бессмертен, царю, мнишишь? Или в необытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судии, богонаначальному Иисусу... Кровь моя, якоже вода пролитая за тя, вопиет на тя ко господину моему!» (Сказания князя Курбского. Ч. 2. СПб., 1833. С. 3–5).

И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит;
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.

Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не любя на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольню сомненья на князя нашли...
Вдруг входит Шибанов, в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»

И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награжденье!»
Шибанов в ответ господину: «Добро!
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки!»

Звон медный несется, гудит над Москвой,
Царь в смиренной одежде трезвонит;
Зовет ли обратно он прежний покой
Иль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.

В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютей,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюга,
И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов.

Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных собранье —
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,

Над шапкою держит посланье.
И спрянул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского, князя Андрея!»

И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Посланье от слова до слова!
Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль – и внимает:

«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонушу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?»

Безумный! Иль мнишишь бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред Судьею предстану!»
Так Курбский писал к Иоанну.

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд,
Был мрачен владыки загадочный взгляд,
Как будто исполнен печали,
И все в ожиданье молчали.

И молвил так царь: «Да, боярин твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной!
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!

Ступай же с Малютой в застенок!»

Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену.
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?» —
«Царь, слово его все едино:
Он славит своего господина!»

День меркнет, приходит ночная пора,
Скрыпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера,
Опять началась работа.
«Ну что же? Назвал ли злодеев гонец?» —
«Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его все едино:
Он славит своего господина!»

«О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе Бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час,
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье —
Помилуй мои прегрешенья!

Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, Боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь —
И твердо жду смерти желанной!»
Так умер Шибанов, стремянный.

1840-е

Князь Михайло Репнин¹⁷

Без отдыха пирует с дружиной удалой
Иван Васильич Грозный под матушкой Москвой.

Ковшами золотыми столов блистает ряд,
Разгульные за ними опричники сидят.

С вечерни льются вины на царские ковры,
Поют ему с полночи лихие гусяры;

Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.

Но голос прежней славы царя не веселит,
Подать себе личину он кравчему велит.

«Да здравствуют тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!

Себе личину, други, пусть каждый изберет —
Я первый открываю веселый хоровод!

За мной, мои тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!»

¹⁷ Впервые: Стихотворения графа А.К. Толстого. СПб., 1867. С. 156–158. Источник – «История Иоанна Грозного» князя А.М. Курбского: «Упившись, начал <Иоанн> со скоморохами в маскарах плясати, и сущие пирующие с ним; видев же сие бесчиние, он <Репнин>, муж нарочитый и благородный, начал плакати и глаголати ему: “Иже недостойт ти, о царю христианский, таковых творити”. Он же начал нудити его, глаголюще. “Веселись и играй с нами”,– и, взявши машкару, класти начал на лице его; он же отверже ю и потоптал, и рече: “Не буди ми се безумие и бесчиние сотворити, в советническом чину сущу мужу!” Царь же ярости исполнився, отогнал его от очей своих, и по коликих днях потом, в день недельный, на всенощном бдению стоящу ему в церкви... повелел воинам бесчеловечным и лютым заклати его, близу самого олтаря стояща, аки агнца божия неповинного» (Сказания князя Курбского. Ч. 1. СПб., 1833. С. 120–121).



К.Е. Маковский. Князь Репнин на пиру у Ивана Грозного

И все подъяли кубки. Не поднял лишь один,
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин.

«О царь, забыл ты Бога! Свой сан ты, царь, забыл!
Опричниной на горе престол свой окружил!

Рассыпь державным словом детей бесовских рать!
Тебе ли, властелину, здесь в ма шкере плясать!»

Но царь, нахмурия брови: «В уме ты, знать, ослаб,
Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб!

Не возражай ни слова и ма шкере надень —
Или клянись, что прожил ты свой последний день!»
Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь:
«Опричнина да сгинет! — он рек, перекрестясь, —

Да здравствует вовеки наш православный царь!
Да правит человеки, как правил ими встарь!

Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас!
Личины ж не надену я в мой последний час!»

Он молвил и ногами личину растоптал,
Из рук его на землю звенящий кубок пал...

«Умри же, дерзновенный!» — царь вскрикнул, разъярясь, —

И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь.

И вновь подъяты кубки, ковши опять звучат,
За длинными столами опричники шумят,

И смех их раздаётся, и пир опять кипит —
Но звон ковшей и кубков царя не веселит:

«Убил, убил напрасно я верного слугу!
Вкушать веселье ныне я боле не могу!»

Напрасно льются вины на царские ковры,
Поют царю напрасно лихие гусяры,

Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.

1840-е



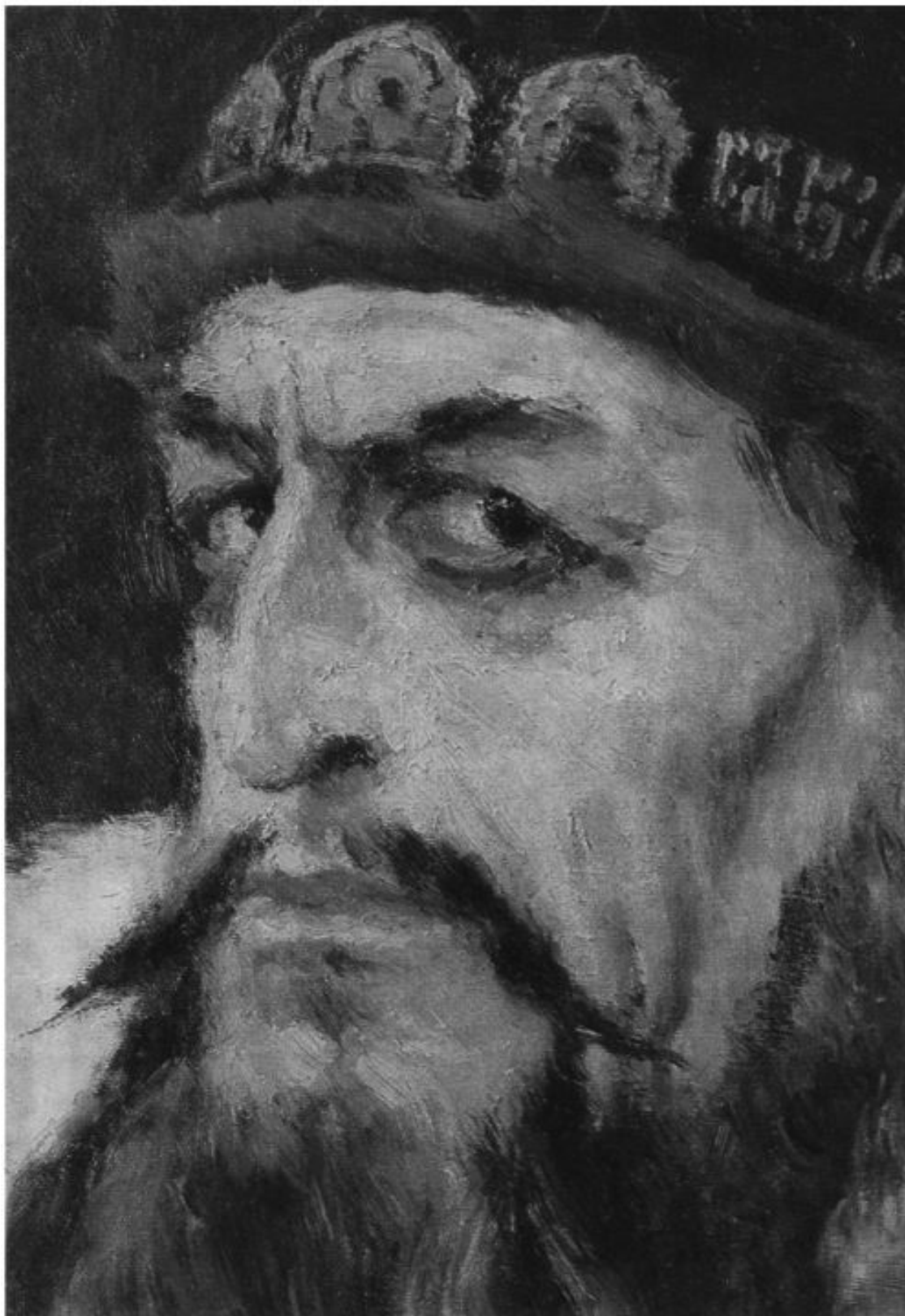
Н.В. Неврев. Опричники

Старицкий воевода¹⁸

Когда был обвинен старицкий воевода,
Что, гордый знатностью и древностию рода,
Присвоить он себе мечтает царский сан,
Предстать ему велел пред очи Иоанн.
И осужденному поднес венец богатый,
И ризою облек из жемчуга и злата,
И бармы возложил, и сам на свой престол
По шелковым коврам виновного возвел.
И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты
И, в землю кланяясь, с покорностью, трикраты,
Сказал: «Доволен будь в величии своем,
Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!»
И, вспрянув тот же час со злобой беспощадной,
Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной,
И, лик свой наклоня над сверженным врагом,
Он наступил на труп узорным сапогом
И в очи мертвые глядел – из дрожи зыбкой
Державные уста змеилися улыбкой.

1858

¹⁸ Впервые: Русская беседа. 1858. № 3. С. 8, без заглавия. Источник – рассказ Н.М. Карамзина о гибели конюшего и начальника казенного приказа И.П. Челяднина-Федорова. Царь «объявил его главою заговорщиков, поверив или вымыслив, что сей ветхий старец думает свергнуть царя с престола и властвовать над Россиею. Иоанн... в присутствии всего двора, как пишут, надел на Федорова царскую одежду и венец, посадил его на трон, дал ему державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий царь земли русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую! Но имея власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть с престола!» Сказав, ударил его в сердце ножом» (История государства Российского. Т. 9. С. 100–101).



В.М. Васнецов. Иван Грозный. Эскиз

Князь Серебряный Повесть времен Иоанна Грозного¹⁹

*Ее императорскому величеству государыне императрице
Марии Александровне*

Всемилоостивейшая государыня!

*Имя вашего величества, которое вы позволили мне поставить во
главе повести времен Иоанна Грозного, есть лучшее ручательство, что
непроходимая бездна отделяет темные явления нашего минувшего от
духа светлого настоящей поры.*

*В этом утешительном убеждении, с глубоким чувством
благодарности и доверия, подношу мой труд вашему величеству.*

Граф Алексей Толстой

1863

*...at nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant
animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista
noscentur, exegerium, quam ne oderim tam segniter pereuntes.*

Tacitus. Annales. Liber XVI²⁰

¹⁹ Впервые отдельное издание: Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного / Сочинение графа А.К. Толстого. 2 т. СПб.: Д.Е. Кожанчиков, 1863.

²⁰ ...а тут – рабское долготерпение и потоки пролитой внутри страны крови угнетают душу и сковывают ее скорбью; но у тех, кто ознакомится с этим моим трудом, я прошу снисхождения не за что другое, как только за то, что не питаю ненависти к отдавшим себя с такою покорностью на истребление. Тацит. Анналы. Книга 16 (*лат.*).

Предисловие

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает излишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

1862

Глава 1

Опричники

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или, по нынешнему счислению, 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, вывели от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал dokonчальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим выюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести, а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев где только Бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка – беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда достигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка отеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя

сердце и мысль его давно просились на родину, но, если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна, всю землю. Казалось, с его праведным царствованием настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточною бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Всё двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князь с ним поравнялся.

– Эхва! – сказал он весело, – вишь как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то. Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

– Да, я чай, уже недалеко до Москвы! – сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

– Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрашал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

– Ну, добро, – сказал князь, – отдыхайте!

– Эй, вы! – закричал Михеич, обращаясь к ратникам, – долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешили и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую броню. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

– Не чинитесь, добрые люди, – сказал ласково Никита Романович, – кречет соколам не помеха!

– Спасибо, боярин, – отвечал пожилой крестьянин. – Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем: уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры! – продолжал он, обращаясь к девкам, – чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрывают, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

– Какая опричина? Что за опричники? – спросил князь.

– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул:

– Царь указал обижать народ? Ах, они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

– Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вот на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха всё ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живую оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок,

так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: Бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрывки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

– Как, на царской дороге, под самую Москву, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

– Да, – подтвердил мужик, – мы-де люди царские, опричники; нам-де всё вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

– Дурень! – вскричал князь, – не смей станичников царскими людьми величать! – «Ума не приложу, – подумал он. – Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всём доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как Бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка – невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

– Государь мой, тещушка, – пел жених вместе с хором, – свари мне пива!

– Государыня теща, напеки пирогов!

– Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

– Пошел, тесть, к черту!

– Пошла, теща, к черту!

– Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня.

Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

– Спасите! спрячьте! – кричал он, хватаясь за полы мужиков.

– Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страху едва мог говорить.

– Там, там, – произнес он дрожащим голосом, – за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями; пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни...

– Беда, беда! – кричали они, – опричники! Бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть.

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

– Гойда! Гойда! – кричал он, – колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

– Батюшка! Боярин! – вопили те, которые были ближе к князю, – не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!

Но князя уже не было между ними.

– Где ж боярин? – спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. – И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

– Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

– На березу его! – закричал черный. – Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и накинули мужику петлю на шею.

– Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

– Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполтину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

– Кто ты, мошенник? – спросил князь.

– А ты кто? – отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

– Отвечай, окаянный, или застрелю, как собаку!

– Я тебе не слуга, разбойник, – отвечал черный, не показывая боязни, – а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистоли шелкнул, но кремень осекся, и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

– Скрутите и этого! – сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! – подумал князь. – Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

– Смотри, батюшка, – сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, – вишь, они какие осылы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

– Это что за люди? – спросил князь. – Зачем вы их к седлам прикрутили?

– Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

– Так отвяжите их и пустите на волю!



К.В. Лебедев. Князь Серебряный и связанные опричники

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободой, остались посмотреть, что будет с побежденными.

– Слушайте, мошенники, – сказал князь связанным опричникам, – говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

– Что, у тебя глаза лопнули, что ли? – отвечал один из них. – Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

– Окаянные! – вскричал Серебряный, – коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

– Да ты, видно, с неба свалился, – сказал с усмешкой черный детина, – что никогда опричников не видал?

И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю.

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

– Слушай, молодец, – сказал он, – твоя дерзость мне было пришлось по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как Бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

– Я Матвей Хомяк! – отвечал он, – стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голов – что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику. Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему:

– Дозволь, боярин, слово молвить.

– Говори!

– Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

– Ты кто, молодец? – спросил Серебряный, – и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

– Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа с злодеями не много принесет пользы, тогда как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

– Власть твоя посылать этих собак к губному старосте, – сказал незнакомец, – только, поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал всё молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

– Батюшка боярин, – сказал он, – оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что Бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозвожь, до крайности, перед отправкой-то, на всяк случай, вlepить им по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкурятина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезть пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

– Это самое питательное дело!.. – сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю. – Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой – и памятно для них будет.

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

– Боярин, – сказал он, – уж коли ты хочешь ехать с одним только стремянным, то дозвожь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж, не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и после краткого отдыха все четверо пустились в путь.

Глава 2

Новые товарищи

Дорогой Михеич несколько раз пытался вывести от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделивались разными изворотами.

– Тьфу, тетка их подкурятина! – сказал наконец сам про себя Михеич. – Что за народ! Словно вьюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

– Боярин, – сказал он, – хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

– А хоть и лихие, – отвечал беззаботно князь, – всё же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники.

– А провал их знает, постоят ли, батюшка? Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова не понять, а кажись было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фыркание.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где, сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразил нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пищалей! «Прости, князь, – говорил ему украдкой этот голос, – я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песне говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами воздымались и опускались и наконец, взлетев высоко, высоко, парили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песне среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Соппротивление стало невозможно.

– Ах, мошенники! – вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди, – ах, тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

– Кто едет? – спросил грубый голос.

– Бабушкино веретено! – отвечал младший из новых товарищей князя.

– В дедушкином лапте! – сказал грубый голос.

– Откуда Бог несет, земляки?

– Не тряся яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожая! – продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

– Вишь, боярин, – сказал незнакомец, равняясь с князем, – ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не более, а там скоро и Москва!

– Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

– Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел Бог, так не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе верные холопы!

– Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

– У меня имя не одно, – отвечал младший из незнакомцев. – Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

– Ах ты, мой кормилец! – сказал он Перстню, – не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

– И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, Боже сохрани, какой сердитый!

– А камора за ставом? – сказал Перстень.

– Вся завалена мешками!

– А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь.

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

– А скажите, молодцы, – спросил Михеич, – где ж отыскать вас, если б неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

– Спроси у ветра, – отвечал Перстень, – откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена стрела, там и дом ее! В свидетели, – продолжал он, усмехаясь, – мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

– Вишь ты, тетка твоя подкурятина! – проворчал себе под нос Михеич, – какие кудрявые речи выговаривает!

– Боярин, – сказал Перстень, удаляясь, – послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его, как Сидорову козу!

– Вишь, что наладил, – проворчал опять Михеич, – отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно, с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, – прибавил он громко, – наш князь никого не боится; наплевать ему на твою Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес шей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета; морщины во всех направлениях пересекали лицо его.

Пожинав и помолившись Богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

– Боярин, – сказал Михеич, когда они остались одни, – сдастся мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

– Чтобы тревожить народ Божий среди ночи? Слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?

– Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угрозило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть!

– Да что тебе здесь худо, что ли?

– Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были хорошие, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник!

– Что ж с того, что он мельник?

– Как что, что мельник? – сказал с жаром Михеич. – Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да, черта с два! Тетка его подкурятина.

– Слыхал я про это, – сказал князь, – мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что Бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помолчал и спросил уже заспанным голосом:

– А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

– Я думаю, разбойник.

– И я то же думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

– Я думаю, тоже разбойник.

– И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

Глава 3

Колдовство

Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

– Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

– Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

– Тихе, князь, тихе, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

– Я те дам сундук запирать, чертова кочерга! – закричал тот, которого мельник назвал князем. – Разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

– Батюшка, не кричи, Бога ради не кричи, всё испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

– Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдумано, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

– Батюшка, умилосьердись! Что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу, что после случится, в том один Бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

– Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

– Что ж, князь, – сказал мельник, – выучил ты слова?

– И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

– Что ж, боярин, и это не помогает?

– Нет, – отвечал с досадой князь, – ничего не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

– Не прогневишь, боярин, не руби невинной головы, а дозвожь тебе слово молвить.

– Говори, старик.

– Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

– Говори! – закричал князь и топнул ногой.

– Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

– Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

– А если... – продолжал мельник, запинаясь, – если она любит не мужа?..

– Ах ты леший! – вскричал князь, – да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

– Колдун, – продолжал князь, смягчая свой голос, – помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на всё рукой и пошел в опричники. Стал гулять

за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские, и опричники, жалуется царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

– Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

– Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу – промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

– Меня уж и так боятся, – сказал он, – не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

– Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

– А боле нет других?

– Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

– А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замялся.

– Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит Бог, не знаю.

– А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

– И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава: когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски!

– Пропадай ты с своими травами! – сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

– Старик! – вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, – подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

– Сжался надо мной! – зарыдал он. – Излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался:

– Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

– Не встану, пока не излечишь!

– Князь! князь! – сказал дрожащим голосом мельник, – пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

– Начинай, – сказал он, – я готов.

Оба замолчали. Всё было тихо. Только колесо, освещенное месяцем, продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой в гущине леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

– Смотри, князь, под колесо, а я стану нашептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо. Прошло несколько минут.

– Что видишь, князь?

– Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы играют.

– Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

– Смотри еще князь, что видишь?

– Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

– Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще! говори, что видишь?

– Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

– Что это значит, старик?

– Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

– Вот потянулись багровые нитки, словно жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

– Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

– Постой! – сказал Вяземский, отталкивая мельника, – вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

– Постой, старик, мне дурно, мне больно в составах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение.

Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

– Хочу знать, любит ли она другого!

– А есть ли у тебя, боярин, какая вещичка от нее?

– Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

– Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

– Хлебни! – сказал он, подавая сулею князю.

Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилось.

– Смотри теперь, что видишь?

– Ее, ее!

– Одною?

– Нет, не одну! Их двое: с ней русский молодец в кармазинном кафтане, только лица его не видно... Постой! Вот они сплываются... всё ближе, ближе... Анафема! они целуются! Анафема! будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!

Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдалении, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь и вертеться.

Глава 4

Дружина Андреевич и его жена

Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею частью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались отдельными городами. Надо всею этою путаницей церковей, домов, рощ и монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова Богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всём своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить Бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле невиданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов Божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили православные украшать дома Божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами.

Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова на берегу Москвы-реки отличался особенною красотою. Дубовые бревна были на подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет Божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой – пространный сад, окруженный дубовым частоколом, из-за которого подымались красивые качели, также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!

Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь окольного Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а красота девушки, при нечестивых нравах новых царских любимцев, бывала ей чаще на беду, чем на радость.

Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин Дружина Андреевич!

Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней,

и в церквах становился супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, только как ни бился князь Вяземский, а всё получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свах к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою в церковь, стала на колени перед Божьею Матерью, плачет и кладет земные поклоны.

В церкви народу не было; но, когда встала Елена и оглянулась, за нею стоял боярин Морозов в бархатном зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.

– О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? – спросил Морозов.

Узнав боярина, Елена обрадовалась.

Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли; одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боярина; схоронила себе на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопрос Морозова, она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о том, что приедут царские свахи, приневолят меня за Вяземского!

– Елена Дмитриевна, – сказал боярин, – полно, правду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девичье – воск; стерпится – слюбится!

– Никогда, – отвечала Елена, – никогда не полюблю его. Скорее сойду в могилу!

Боярин посмотрел на нее с участием.

– Елена Дмитриевна, – сказал он, помолчав, – есть средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты выйти за меня, старика?

– Согласна! – вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги.

Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он восторгу Елены, не догадался, старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый.

Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.

– Дитяtko, – сказал он, – целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь, пред Спасителем!

– Клянусь, клянусь! – прошептала Елена.

Боярин велел позвать священника, и вскоре совершился обряд обручения; когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она целовала крест быть ему верною и твердо решила сдержать свою клятву, не погрешить против господина своего ни словом, ни мыслию.

И зачем бы не любить ей Дружину Андреевича? Правда, не молод был боярин; но Господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил Господь Дружину Андреевича: не благословил его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина; велел позвать его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана.

Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола: невместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком.

И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозову отойти от очей своих и отпустить седые волосы, доколе не сыметя с него опала. И удалился от двора боярин;

и ходит он теперь в смиренной одежде с бородою нечесаною, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но не опозорил он своего роду, не сел ниже Годунова!

Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою; всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие.

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди приветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы перед иконами внезапно представлялся воображению ее молодой витязь, летящий на коне с поднятым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки?

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!..»

Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двадцать четвертого, в день Ивана Купалы, все колокола московские раскачались с самого утра и звонили без умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, убранные лентами. Всё было пестро, живо и весело. Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было бы встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил Бога, гуляя по улицам, ибо Бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную пору; а грешно идти против воли Божией, разве уж принудит неотложное дело.

Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе, или кабаке, слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники, почти все молодые, в богатых нарядах. Они расположились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были пьяны; иной, лежа на голой земле, проливал на платье чарку вина; другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные звуки.

Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова.

В это время два всадника показались на улице. Один из них, в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под которой вились густые русые кудри, обратился к другому всаднику.

– Михеич, – сказал он, – видишь ты этих пьяных людей?

– Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, бражники, как расходились!

– А видишь ты, что у лошадей за седлами?

– Вижу: метлы да песьи морды, как у того разбойника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

– Поди спроси у них, где живет боярин Морозов!

– Эй, добрые люди, господа честные! – закричал Михеич, подъезжая к толпе, – где живет боярин Дружина Андреевич Морозов?

– А на что тебе знать, где эта собака живет?

– У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого полку.

– Давай сюда грамоту!

– Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли? Как дать тебе князеву грамоту?

– Давай грамоту, старый сыч, давай ее! Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли известить государя!

– Ах ты мошенник! – вскричал Михеич, забывая осторожность, с которою начал было говорить, – да разве мой господин знает с изменниками!

– А, так ты еще ругаться! Долой его с лошади, ребята, в плети его!

Тут сам Серебряный подскакал к опричникам.

– Назад! – закричал он так грозно, что они невольно остановились. – Если кто из вас, – продолжал князь, – хоть пальцем тронет этого человека, я тому голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдобровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек лет сорока в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устах, осененных реденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и неопределенно.

Увидев Серебряного, он прервал свое пение, подошел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.

– Ты, ты! – сказал он, как будто удивляясь, – зачем ты здесь, между ними?

И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Опричники посторонились с видом почтения, но он, не обращая на них внимания, опять стал смотреть в глаза Серебряному.

– Микитка, Микитка! – сказал он, качая головой, – куда ты заехал?

Серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени.

– Разве ты знаешь меня? – спросил он.

Блаженный засмеялся.

– Ты мне брат! – отвечал он. – Я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле моего, а то бы ты сюда не приехал. Я всё твое сердце вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые! А эти... – продолжал он, указывая на вооруженную толпу, – эти нам не родня! У!

– Вася, – сказал один из опричников, – не хочешь ли чего? Не надо ль тебе денег?

– Нет, нет, нет! – отвечал блаженный, – от тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай Микитке, чего он просит!

– Божий человек, – сказал Серебряный, – я спрашивал, где живет боярин Морозов?

– Дружина-то? Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подымеется!

– Где он живет? – повторил ласково Серебряный.

– Не скажу! – ответил блаженный, как будто рассердившись, – не скажу, пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело.

И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом.

Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам.

– Что ж, – спросил он, – скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова?

– Ступай всё прямо, – отвечал грубо один из них. – Там, как поворотишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона.

По мере того как князь удалялся, опричники, усмиренные появлением юродивого, опять начинали буянить.

– Эй! – закричал один, – отдай Морозову поклон от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу; больно зажился!

– Да и на себя припаси веревку! – крикнул вдогонку другой.

Но князь не обратил внимания на их ругательства.

«Что хотел сказать мне блаженный? – думал он, потупя голову. – Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?»

Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.

Глава 5 Встреча

Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно было поверх частокола видеть весь сад Морозова.

Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошенной траве пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в липах жужжали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за кустов красной смородины большие подсолнечники подымали широкие головы и, казалось, нежились на полуденном солнце.

Боярин Морозов уже с час как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с девушками.

– Боярыня, – сказала одна из них, – примерь еще вот эти запястья, они повиднее.

– Будет с меня примерять, девушки, – отвечала ласково Елена, – вот уж битый час вы меня наряжаете да укручиваете, будет с меня!

– Вот еще только монисто надень! Как наденешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона в окладе!

– Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!

– Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?

– Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты намедни пела, как вы ягоды собирали!

– И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне веселого! То грустная песня, не праздничная.

– Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька.

– Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Нуте ж, подруженьки, подтягивайте!

Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали;
Ах, кабы на меня да не кручина,
Ни о чем бы я не тужила,
Не сидела б я, подпершись,
Не глядела бы я во чисто поле...

.....

Я по сеням шла, по новым шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтоб моя шубка не прошумела,
Чтоб мои пуговики не прозвякнули,
Не услышал бы свекор-батюшка,
Не сказал бы своему сыну,

Своему сыну, моему мужу!²¹

Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.

– Ах, я глупенькая! – сказала Пашенька, – чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!

– Охота ж тебе и знать их! – подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. – Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:

Пантелей государь ходит по двору,
Кузмич гуляет по широкому,
Кунья на нем шуба до земли,
Соболья на нем шапка до верху,
Божья на нем милость до веку.
Сужена-то смотрит из-под пологу,
Бояре-то смотрят из города,
Боярыни-то смотрят из терема,
Бояре-то молвят: чей-то такой?
Боярыни молвят: чей-то господин?
А сужена молвит: мой дорогой!²²

Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

– Вот тебе и песня! – сказала Пашенька. – Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!

– Девушки, душечки! – сказала вдруг Елена, бросаясь на шею Пашеньке, – пособиите порыдать, помогите поплакать!

– Да что с тобой случилось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?

– Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как народ Божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи!

– Что ты, боярыня, грех какой! Заплесть тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!

– Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!

– Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмем!

«Неужели, – подумала Елена, – грешно и вспоминать о прошлом!»

– Так и быть, – сказала она, – не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали.

Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные делянки и начала заплетать широкую русую косу в девяно-

²¹ Толстой цитирует песню по сборнику М.Д. Чулкова «Собрание разных песен» (Часть I. СПб., 1770) с небольшими отличиями в 4, 15 и 20 строках. Текст в середине песни пропущен, так как там героиня обращается к «батюшке», а у Елены Дмитриевны не было отца (Сочинения Михаила Дмитриевича Чулкова. СПб., 1913. Т. 1. С. 191).

²² Толстой цитирует песню по сборнику: *Сахаров И.П.* Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. Ч. 3, кн. 2. СПб., 1837. С. 13.

сто прядей. Много требовалось на то умения. Надо было плесть как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь неприметно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.

Наконец коса поспела. Боярыня связала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.

– Готово, Пашенька, – сказала она, радуясь своей работе. – Встань-ка да пройдишь передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника!

– Всё в свою пору, боярыня, – отвечали, смеясь, девушки, – а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!

– Полноте вы, пересмешницы! – отвечала Дуняша. – Мне бы хотя век косы не расплестать! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!

Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.

– Нагнись, Пашенька, – сказала боярыня, – я тебе повяжу еще ленту с поднизями... Девушки, да ведь сегодня Ивана Купала, сегодня и русалки косы заплетают!

– Не сегодня, боярыня, а в семик и Троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.

– Бог с ними, – сказала Пашенька, – мало ли что бывает в Иванов день, не приведи Бог увидеть!

– А ты боишься русалок, Пашенька?

– Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить страшно, всё равно что в Троицын день или на русальную неделю. Девушку защекотят, молодца любовью иссушат!..

– Говоришь, а сама не знаешь! – перебила ее другая девушка. – Какие под Москвой русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украине, там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти всё по ней тосковать будешь; коли женатый – бросишь жену и детей, коли холостой – забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

– Девушки, – сказала она, помолчав, – что, в Литве есть русалки?

– Там-то их самая родина; что на Украине, что в Литве – то всё одно...

Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот, и белая шапка Серебряного показалась над частоколом.

Увидя мужчину, Елена хотела скрыться, но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснились в его голову, одна другой противореча. Он видел пред собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?

Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.

Она была замужем!

«Брежу ли я? – подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд, – во сне ли это вижу?»

– Девушки! – упрасивала Елена, – отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, Боже мой! Пресвятая Богородица! Что мне делать! Что сказать мне!

Серебряный между тем оправился.

– Елена Дмитриевна, – произнес он решительно, – отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?

Елена в отчаянии искала слов и не находила их.

– Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!

– Выслушай меня, Никита Романович, – прошептала Елена.

Князь задрожал.

– Нечего мне слушать, – сказал он, – я всё понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!

И он рванул коня назад.

– Никита Романыч! – вскричала Елена, – молю тебя Христом и Пречистою Его Матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!

Она не в силах была продолжать; голос ее замер; колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.

Судорога пробежала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.

Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винулась в невольной измене; говорила, что должна бы скорее наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие.

– Ты не можешь меня любить, князь, – говорила она, – не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей!

Князь слушал, нахмурия брови, но не отвечал ничего.

– Никита Романыч, – прошептала Елена боязливо, – ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.

Сильная борьба происходила в Серебряном.

– Боярыня, – сказал он наконец, и голос его дрожал, – видно, на то была воля Божия... и ты не так виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не клянусь тебя, – нет – видит Бог, не клянусь – видит Бог, я... я по-прежнему люблю тебя!



В.Г. Шварц, Свидание князя Серебряного с боярыней Морозовой

Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.

В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания они бросились друг к другу, и уста их соединились...

Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед Господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу! Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча.

Глава 6

Прием

Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, чья личность глубоко врежется в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целою головою выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал пронизательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным. Но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.

– Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! – сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусяную избу с изразцовою лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. – Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне Бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слыхал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят катал!

И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.

– А помнишь ли, Никитушка, – продолжал он, обняв князя одною рукой за плеча, – помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Всё, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!

Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.

– Боярин, – сказал он, – вот грамота к тебе от князя Пронского.

– Спасибо, князь. После прочту; время терпит; дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать.

Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.

– Князь, – сказал Морозов, – это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая... Кланяйся, Елена, проси боярина!.. Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романя, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!

Морозов низко кланялся.

Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок.

Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.



В.Г. Шварц, Угощение боярина

– Что с тобой, Елена? – сказал вдруг Морозов, – уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело! Оленушка, – прибавил он шепотом, – уж не опять ли проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал мимо саду! Не кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитяtko, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь?

– Благодарю, боярин, обедал.

– Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай похлопочи! А ты, боярин, закуси чем Бог послал, не обидь старика опального! И без того мне горя довольно!

Морозов указал на свои длинные волосы.

– Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.

Морозов вздохнул.

– За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!

При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.

Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.

– Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!

– Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!

– Прогневили мы, видно, Бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто по насердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда Божия, и крест накриве целовали и руки в письмах лживили. Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь, какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытаются по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч. Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили! Но ты, князь, уже, может, слышал про это?

– Слышал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему удивиться. Царь волен казнить своих злодеев!

– Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольного Адашева (Алексеева брата) с малолетним сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.

Негодование выразилось на лице Серебряного.

– Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!

– Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце.

– Боярин! – вскричал Серебряный, вскакивая с места, – если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником! Я сам бы наложил руки на него!

– Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же? На государя моего!

– Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?

– Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михайло Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! – сказал Репнин, – не бывать тому, чтоб я посрамил сан свой боярский!» – и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме Божиим.

– Боярин! Это Бог нас карает!

– Да будет же над нами Его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенки. Многие винулись с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно ада, очищали бояр, тех самих предавали смерти.

Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убийцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голосят: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на коня; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим – ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди – все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал за посады.

Воротились мы в дома и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту: пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де, куда Бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить! Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам Бог поставил его над нами, и, видно, по Божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собрались мы в думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та Слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолившись Богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы и борода почитай совсем вылезли. Что с ним случилось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.

– А какой же уговор он прочил себе? – спросил Серебряный.

– А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая, такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в думу и нас и духовенство. А когда собрались мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной доуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особый обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а всё достальное – то земщина. А боярам-де и митрополиту со властями в мой домовый особый обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да всё таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все дома и всё добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из опричнины словно животину. Право, Никита Романыч, ведь своими

глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!

– Да зачем же вы согласились на этот уговор? – заметил Серебряный.

– Что ты, князь? Разве царю можно указывать? Разве он не от Бога?

– Вестимо, от Бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

– А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?

Серебряный задумался.

– Так, – проговорил он, немного помолчав, – нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на всё да молчите?

– Я-то, князь, не молчу, – отвечал Морозов с достоинством. – Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной, – ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов – этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться, всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя и нас всех, окаянный! Ну да что про него!

Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.

Между тем слуги накрыли на стол.

Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отвесть многочисленных блюд: студеной разного роду, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе мальвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:

– Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

– Просвети его Бог! Открой ему очи! – отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.

Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.

Морозов выслушал его с большим вниманием.

– Плохо, князь, – сказал он, почесывая крутой лоб свой, – больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя, а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знакомое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно Божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана

Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь, – продолжал Морозов, – когда хотел ты здравствовать государю?

– Завтра, чем свет, как выйдет его милость из опочивальни.

– Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с лишком сто верст ехать!

– Как? Разве царь не в Кремле?

– Нет, князь, не в Кремле. Прогневил мы Господа, бросил нас государь, воротился в Александрову слободу, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна, ни покрывки.

– Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного а завтра чем свет отправлюсь в Слободу.

– Не езд, князь!

– Отчего, боярин?

– Не снести тебе головы, Никита Романыч.

– На то Божья воля, боярин; что будет, то будет!

– Послушай, Никита Романыч. Ведь ты меня забыл, а я помню тебя еще маленького.

Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, Царствие ему Небесное; некому остеречь тебя, некому тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит Бог, не завидна! Коли поедешь в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал.

– Что ж, боярин, видно, мне так на роду написано!

– Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у меня в доме как сын родной!

– Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего.

– Никита Романыч, Курбский – изменник. Он ушел ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?

– Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

– Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвященным и уладили б твое дело, а теперь ты попадешь, как смола на уголья!

– Жизнь наша в руке Божией, боярин. Непригоже стараться продлить ее хитростью боле, чем Богу угодно. Спасибо за хлеб-соль, – прибавил Серебряный, вставая, – спасибо за дружбу (при этих словах он невольно смутился), но я поеду. Прости, Дружина Андреич!

Морозов посмотрел на князя с грустным участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте.

– Да будет же над тобой благословение Божие, Никита Романыч! – сказал он, подымаясь со скамьи и обнимая князя. – Да умягчит Господь сердце царское. Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из печи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, от всего сердца, от всей души!

Пословица говорится: пешего до ворот, конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилося. Он остановил коня. К частоколу подошла Елена.

– Князь, – сказала она шепотом, – я слышала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!

– Елена Дмитриевна! Видно, так угодно Господу, чтобы принял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне Господь счастья, не мне ты досталась, Елена Дмитриевна. Пусть же надо мной воля Божия!

– Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать! Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла!

– Пропадай она! – сказал Серебряный и махнул рукой.

– Пресвятая Богородица! Коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть других! Пожалей хоть меня, Никита Романыч! Вспомни, как ты любил меня!

Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упрашивал?

Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении, но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нет, – подумал он, – да будет мне стыдно, если я хотя мыслю оскорблю друга отца моего! Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от смерти!»

– Мне нельзя не ехать! – сказал он решительно. – Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена!

Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась оземь.

– Расступись же подо мной, мать сыра земля! – простонала она, – не жилица я на белом свете! Наложу на себя руки – изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету Божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!

Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену, но она рыдала всё громче. Люди могли ее услышать, подсмотреть князя и донести боярину. Серебряный это понял и, чтобы спасти Елену, решился от нее оторваться.

– Елена, прости! – сказал он, – прости душа, радость дней моих! Уйми свои слезы, Бог милостив, авось мы еще увидимся.

Облака задернули месяц, ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачались старые ветви, будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром добрый молодец, пропадет и его полюбовница!

Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею, в глубине сада, темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевич?

Глава 7

Александрова слобода

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от Лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспреданно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов, с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

– Пожалейте, государи, нас, – говорили они на все голоса, – вам Господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашею подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

– Отцы наши, батюшки! – пели иные протяжно, сидя у самой дороги, – дай вам Господи доброе здоровье! Донеси вас Бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник.

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу пожить царскою милостью.

Проходили также слепые гусяры и сказочники, с гусями на плечах и держась один за другого.

Всё это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи – ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбой в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их без милосердия; зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопы. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на верную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в неволю? Этим прозвищем народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопы его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна:

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить

душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении одного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осьмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все, кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытаться какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимо уполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»²³

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец или монастырь государев отделен от прочих зданий глубоким ровом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание. Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья.

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псары, сокольники и всякие дворцовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм Богородицы покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

²³ Неточная цитата: *Карамзин Н.М.* История государства Российского: Репринт. воспроизведение 5-го изд., выпущ. в 3 кн. с прил. «Ключа» П.М. Строева. Кн. 3-я. М., 1989. С. 43.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, окрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета!

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

– Это наши качели, боярин, – промолвил один из них, указывая на виселицы. – Видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз не сводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищ его спешили и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники; другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную редьку. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности; но когда он подходил к какому-либо кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.



К.В. Лебедев. Князь Серебряный, медведь и молодой опричник

– Так, так, – сказал он, – ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови.

– Вставай, боярин! – сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленной саблей в руке. Медведь с разрубленную головой лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти.

– Добрый молодец! – сказал ему Серебряный, – назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого Богу помолиться!

– Что тебе до моего прозвища, боярин! – отвечал опричник. – Не люблю я его, Бог с ним! Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

– Ну, батюшка, Никита Романыч, – сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежьей кровью с князя, – набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы бросил он тебя да на меня бы навалился, как этот молодец, дай Бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь всё это затеял вон тот голобородый с масляными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали, – прибавил Михеич шепотом, – виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирает кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть, также (и это случалось часто) царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заране, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званных было семьсот человек.

Глава 8

Пир

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчой и бархатом; государю – высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четверо-угольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды.

Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и туры рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре стольники, попарно, вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями Спасителя, Богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьяновых сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо всё еще было прекрасно; но черты обозначились резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоех поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

– Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

– Это царевич Иоанн Иоаннович, – отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:

– Помилуй нас Господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствования!

– А этот молодой черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

– Ты видел его, князь, пять лет тому, рындюю при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь... – продолжал боярин, понижая голос, – видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебеда, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и попечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости Господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

– Этот? – спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

– Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

– Да, – сказал Серебряный, взглядываясь в Годунова, – теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

– Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался:

«Попади, бачка-царь! – говорит, – моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» – то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» – сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло; только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору,

да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, – продолжал боярин, глядя на Годунова, – никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел, как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, – продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, – то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему Господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

– Скажи, боярин, – спросил он, – кто этот высокий, кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть ножом порет!

– Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему всё с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола!

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном, между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

– Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевелевым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

– Василий-су! – сказал Басманов, – великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

– Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом.

Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

– Боярин пьян, – сказал Иван Васильевич, – вынести его вон!

Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» – подумал он.

Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меда, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и мальвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял с наглою усмешкой Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затеиливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастьями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали,

облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее. Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь пронизательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его. Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приятельных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы направить ее.

Единственною светлою стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел по крайней мере возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но, независимо от этих расчетов, кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решил напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за сто-

лом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

– Афанасий, – сказал он полуласково, полунасмешливо, – долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь – змея лютая?

– Вяземский не опричник, – заметил царевич. – Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гуслирами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

– Царевич! – вскричал Вяземский, – если бы тебе было годков пять поболее да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померились бы с тобой, и сам Бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гусли играть!

– Афонька! – сказал строго царь. – Не забывай, перед кем речь ведешь!

– Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, – отвечал дерзко Вяземский, – коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

– Нет, – сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки, – рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлую ночью слепой Филька: «В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и, как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. “Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича”. – “Добро, – сказал Алеша, – полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!” Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем Змиевича и увез его молодую жену. “Исполать тебе, добрый молодец, – сказала жена, – что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!”» А что, Афоня, – прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, – как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылала очи пожаром.

– Афанасий, – продолжал царь, – я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми, – прибавил он значительно, – возьми с собой для почету поболее опричников.

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слышал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников. Не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

– Государь! – вскричал Малюта, – дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

– Государь, – продолжал Малюта, – наместники послали я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопами напал на объездных людей. Многих убили до смерти и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

– Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк, с повязанною головой.

Глава 9

Суд

Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили слугу его! Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

– На кого ты просишь, – спросил он, – как было дело? Рассказывай по ряду!

– На кого прошу, и сам не ведаю, надежа православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени.

А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

– Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

– Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, – сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, – не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

– Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

– А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

– Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетью избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

– А много ль вас было в объезде?

– Пятьдесят человек, я пятьдесят первый.

– А много ль ихних было?

– Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

– И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бела дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!

– Надежа-государь! – отвечал стремянный с твердостью, – видит Бог, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюсь я смерти, боюсь кривды; и в том шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и наконец злобная радость изобразились на чертах его.

– Государь, – сказал он, вставая, – коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетью, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

– Никита! – сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово, – подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

– Знаю, государь.

– Нападал ты на него с товарищи?

– Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню...

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя.

– Государь, – сказал он, – не слушай боярина. То он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

– Государь, – сказал он, – я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьюми, затем велел бить...

– Довольно! – сказал строго Иван Васильевич. – Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

– Не ведал, государь.

– А когда хотел повесить их, сказались они тебе?

– Сказались, государь.

– Зачем же ты раздумал их вешать?

– Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.

– Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?

Серебряный не нашелся отвечать.

Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

– Не затем, – сказал он, – не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, – продолжал царь с возрастающим гневом, – ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьюми?

– Государь...

– Довольно! – загремел Иоанн. – Допрос окончен. Братия, – продолжал он, обращаясь к своим любимцам, – говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного.

– Говорите ж, люди, – повторял он, возвышая голос, – что заслужил себе Никита?

– Смерть! – отвечал царевич.

– Смерть! – повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

– Так пусть же примет он смерть! – сказал Иоанн хладнокровно. – Писано бо: приемшие нож, ножом погибнут. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

– Братия! – сказал он, – прав ли суд мой?

– Прав, прав! – раздалось между ближними опричниками.

– Прав, прав! – повторили отдаленные.

– Неправ! – сказал один голос.

Опричники взволновались.

– Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев? – послышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

– Кто говорит, что неправ суд мой? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение. – Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

– Государь, – произнес Малюта в сильном волнении, – между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят не помня, не спрашивая разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

– Отец параклисиарх! – сказал он, усмехаясь, – давно ль ты умилился сердцем?

– Государь! – продолжал Малюта, – не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя.

– Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой, – сказал Иоанн, поглядывая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына. – Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

– Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

– Не слушай его, государь, – умолял Малюта, – он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

– Максим не пил ни вина, ни меду, – заметил злобно царевич. – Я всё время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры всё более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

– Да, – прибавил он, усмехаясь, – Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

– Батюшка, государь Иван Васильевич! – проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, – сего утра я, дурак глупый, деревенщина необтесанный, просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смрачному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаяние написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

– Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! – сказал он. – Максим прав!

– Что ты, государь! – вскричал Малюта. – Как Максим прав? – И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

– Максим прав, – повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид, – я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это

вы, окаянные, – продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым, – это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убойства? Нужно было извести моего доброго боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

– Не поздно, государь, – сказал Годунов, возвращаясь в палату. – Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь, и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху; палач, снем кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

– Борис, – сказал он, – подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Федорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

– Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую. Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напередки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

– Какое идет тебе жалованье? – спросил Иоанн.

– Против рядовых людей обычное, государь.

– Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь!

– Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостоин одежи богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

– Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

– Постыла, государь.

– Что так? – спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

– Государь, – сказал он, – хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

– Не за тем он просится, – подхватил царевич, – а за тем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

– Вот как! – сказал Иоанн насмешливо. – Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой богатырь! Ну, где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники вписать!

– Эх, государь! – поспешил сказать Малюта, – куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Кольчевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

– Подойди сюда, князь! – сказал Иоанн. – Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без

него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

– За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой. И не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать!

– А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался.

– И тогда побил бы, государь, – сказал он простодушно, – не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание.

– Добрый твой ответ, Никита! – сказал он, одобрительно кивнув головой. – Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки добрые псы, боронить от пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на Страшном суде Божиим по пророческому словеси: се аз и дети, яже дал ми Бог! Добрый твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят; называют меня кровопийцею, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но словно смола горячая проедают, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль, – продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб), – яко же древле Рахиль, плачу о детях своих, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки! Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

– Отвечай, – сказал он грозно, – что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили? Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

– Потравились маленько с мужиками! – отвечал он полухитро, полудерзко, – нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

– Что ж, – сказал он, – доволен ты княжескими шелепугами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой пронзительный взор на земских бояр.

– Вы! – сказал он строго, – не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! – И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку. – Слушай, – произнес он, глядя на князя, – я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощения моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

– Государь, – сказал Серебряный, – жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

– Целуй же мне на том крест! – сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение Спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

– Теперь ступай! – сказал Иоанн, – и молись премилостивой Троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины! Вы же, – прибавил он, глядя на земских бояр, – вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

– Ступайте все, – сказал он, – каждый к своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим, помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лицепрятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрыгнуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему Господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые, притуманившись, – притуманившись, будто думая: ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!

Глава 10

Отец и сын

Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободой и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу.

– Батюшка, – сказал Максим, – я ждал тебя; мне нужно переговорить с тобою.

– О чем? – спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.

– Я завтра еду, – продолжал Максим, – прости, батюшка!

– Куда? – спросил Малюта и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима.

– Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином сошлась, места довольно!

– Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечесть? Знаешь ли, кто он и кто ты?

– Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А всё же мне нельзя оставаться.

– Ах ты, самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?

– Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля – Божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я один против всех вас? Поневоле уезжать откладывал. А сегодня, – продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его, – сегодня я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, – тогда забилося к нему сердце мое, как ни к кому еще не бивалось, и вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как день, что не на вашей стороне правда!

– Так вот кто тебя с толку сбил! – вскричал Малюта, и без того озлобленный на Серебряного. – Так вот кто тебя с толку сбил! Попадись он мне только в руки, не скорою смертью издохнет он у меня, собака!

– Господь сохранит его от рук твоих! – сказал Максим, делая крестное знамение. – Не попустит Он тебя всё доброе на Руси погубить! Да, – продолжал, одушевляясь, сын Малюты, – лишь увидел я князя Никиту Романыча, понял, что хорошо б жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было: очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежду носить!

Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению, но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтоб удержать сына.

– Максимушка! – сказал он, принимая заискивающий вид, насколько позволяло зверское лицо его, – не в пору ты уезжать затеял! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да заступились, видно, святые угодники за нас, умягчили сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он похвалил тебя, и жалованья тебе прибавил, и соболю шубой пожаловал! Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдешь! А покамест чем тебе здесь не житье?

Максим бросился в ноги Малюты.

– Не житье мне здесь, батюшка, не житье! Не по силам дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плач по вся дни, невтерпеж видеть, что отец мой...

Максим остановился.

– Ну? – сказал Малюта.

– Что отец мой – палач! – произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этим названием.

– Палач палачу рознь! – произнес он, покосившись в угол избы. – Ино рядовой человек, ино начальный; ино простых воров казнить, ино бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанье готовят. Я в разбойный приказ не вступаю; мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы!

– Замолчи, отец! – сказал, вставая, Максим, – не возмущай мне сердце такою речью! Кто из тех, кого погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты боярские головы! Кабы не ты, и царь был бы милостивее. Но вы ищите измены, вы пытками вымучиваете изветы, вы, вы всей крови заводчики! Нет, отец, не гневи Бога, не клевети на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь вконец извести боярский корень!

– Да ты-то с чего за них заступаешься? – сказал с злобною усмешкой Малюта. – Или тебе весело видеть, что ты как ни статен, как ни красен собой, а всё остаешься между ними последний? А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой, что ли, земли Господь их вылепил? Коли богатством гордятся, так дайте срок, государи! Царь не забывает верных слуг своих; а как дойдут до смертной казни Колычевы, так животы их не кому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними, окаянными, в застенке-то промучился; жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно.

Но Малюта этого не заметил.

– Максимушка, – сказал он, – на кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня! Вспомни, что я тебе отец! Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе, словно царь меня похвалил или к руке пожаловал, а обидь тебя кто, – так, кажется, и съел бы живого!

Максим молчал. Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение.

– Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мне в сердце не шелохнется?

– Ничего, батюшка!

Малюта подавил свою злобу.

– А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд, коли подумает, что ты от него уехал?

– От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет. Знаю, что Бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так всё нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из Слободы да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда, даст Бог, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в опричниках.

– А что будет с матерью твоею? – сказал Малюта, прибегая к последнему средству. – Не пережить ей такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хвора!

– Премилостивый Бог не оставит матери моей, – ответил со вздохом Максим. – Она простит меня.

Малюта начал ходить по избе взад и вперед.

Когда остановился он перед Максимом, ласковое выражение, к которому он приневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

– Слушай, молокосос, – сказал он, переменяя приемы и голос, – доселе я упрашивал тебя, теперь скажу вот что: нет тебе на отъезд моего благословения. Не пущу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, перестанешь отцом гнушаться!

Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли.

– Вишь, – продолжал Малюта, – разговорился я с тобой; скоро ночь глубокая, пора к царю, ключи от тюрьмы отнести. Вот и дождь полил! Подай мне терлик. Смотри пожалуй, какой стал прыткий! Ехать хочу, не житье мне здесь! Дай ему воли – пожалуй, и меня на свой лад переиначит! Нет, брат, рано крылышки распустил! Я и не таких, как ты, унимал! Я те научу слушаться! Эх, погода, погода! Подай мне шапку. А молонья-то, молонья! Ишь как небо раззевается! словно вся Слобода загорелась. Заволоки окно да ступай спать, авось к утру выкинешь дурь из головы. А уж до твоего Серебряного я доберусь! Уж я ему это припомню!

Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Всё было тихо в доме; лишь на дворе гроза шумела да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о другую, звенели зловецким железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жильё, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Всё молчало в верхнем жильё. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которою покоилась мать его.

– Господи Боже мой! – сказал Максим про себя. – Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли! Ты знаешь, Господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, Боже мой, аще преступаю Твою заповедь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня матушка, не увидишь ты меня боле!

Максим припал к порогу светлицы и облобызал его. Потом он несколько раз перекрестился, сошел с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд Божий. На дворе не было живой души. Максим вошел в конюшню, конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная и жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его.

Максим погладил собаку, а она положила ему свои черные лапы на плечи и стала лизать его лицо.

– Прощай, Буян, – сказал Максим, – стереги дом наш, служи верно матери! – Он вскочил в седло, выехал в ворота и ускакал от родительского дома.

Еще не доскакал он до земляного вала, как услышал громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопутствовать своему господину.

Глава 11

Ночное шествие

Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Онуфреву.

Стара была его мамка. Взял ее в верьх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках; у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Онуфреву, что многое ей известно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боялись ее; Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей.

Много сокрытого узнавала Онуфрева посредством гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева – Иоанну тогда было четыре года – она предсказала князю, что он умрет голодною смертью. Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказание.

Теперь Онуфреве добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Онуфревы пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась.

Онуфрева опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.

– Что? – сказала наконец мамка глухим, дребезжащим голосом, – молишься, батюшка? Молись, молись, Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на день придется!

– Полно, Онуфрева, – сказал царь, вставая, – сама не знаешь, что говоришь!

– Не знаю, что говорю! Да разве я из ума выжила, что ли? – И безжизненные глаза старухи внезапно заблестали. – Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что? Чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на дно адаво! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтобы отвлечь помазанника Божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противопоставил молитву; но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его как железными когтями. Неправость дел его являлась во всей наготу, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможенья.

Теперь мысль об аде, оживленная наступающей грозой и пророческим голосом Онуфревы, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой.

– Ну, что, батюшка? – сказала Онуфрева, смягчая свой голос, – что с тобой случилось? Захворал, что ли? Так и есть, захворал! Напугала же я тебя! Да нужды нет, утешься, батюшка,

хоть и велики грехи твои, а благость-то Божия еще больше! Только покайся, да вперед не грехи. Вот и я молюсь, молюсь о тебе и денно и ночью, а теперь и того боле стану молиться! Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю!

Иоанн взглянул на свою мамку, – она как будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее.

– Спасибо, Онуфревна, спасибо; мне легче; ступай себе с Богом!

– То-то легче! Как обнадужишь тебя, куда и страх девался; уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с Богом! А ты на долготерпение-то Божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого Господа терпения-то не станет. Отречется Он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, Царствие ему Небесное! И матушка твоя, упокой Господи душу ее, любила сбитень. В сбитне-то и опоили ее проклятые Шуйские!

Старуха как будто забылась. Глаза ее померкли; она опять принялась жевать губами, беспрерывно шатавая головой.

Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул. Старуха перекрестилась дрожащей рукой.

– Вишь, – сказала она, – дождь полил! И молонья блистать начинает! А вот и гром, батюшка, помилуй нас, Господи!

Гроза усиливалась всё более и скоро разыгралась по небу непрерывными перекатами, беспрепятственно молнией.

При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.

– Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить...

– Не надо, Онуфревна, я здоров...

– Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрывшись бы. И чтой-то у тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Царское ли это дело! Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой!

Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.

– Онуфревна, – сказал он вдруг с испугом, – кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!

– Христос с тобой, батюшка! Кому теперь ходить. Послышалось тебе.

– Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуфревна!

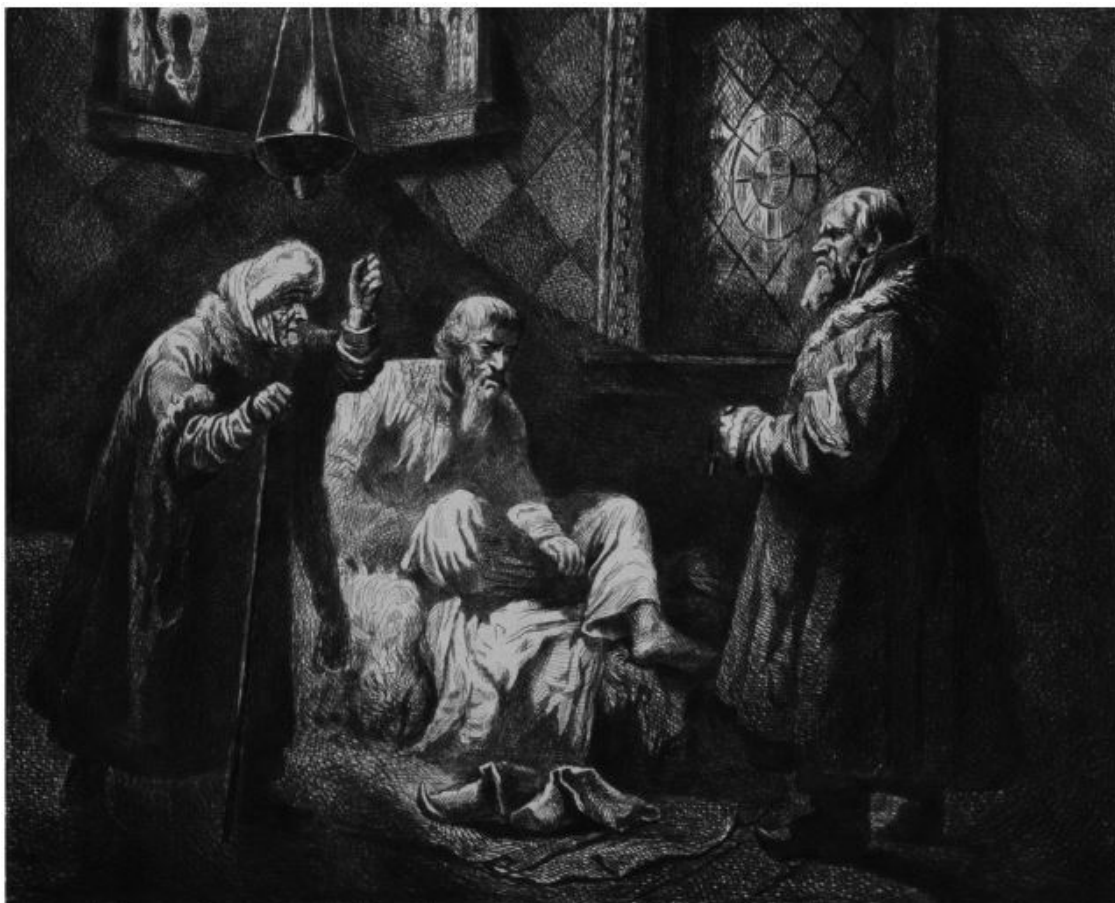
Старуха отворила дверь. Холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта.

– Кто это? – спросил царь, вскакивая.

– Да твой рыжий пес, батюшка, – отвечала мамка, сердито глядя на Малюту, – Гришка Скуратов; вишь, как напугал, проклятый!

– Лукьяныч! – сказал царь, обрадованный приходом любимца, – добро пожаловать; откуда?

– Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи принес! – Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.



В.Г. Шварц, Опочивальня Ивана Грозного

– Ключи! – проворчала старуха. – Уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!

Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с поднятою клюкой, с сверкающими глазами.

Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило присутствие любимца.

– Не слушай ее, Лукьяныч, – сказал он, – знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура, оставь нас!

Глаза Онуфревы снова засверкали.

– Старая дура? – повторила она. – Я старая дура?

Вспомнете вы меня на том свете, оба вспомнете! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский; комуждо воздается по делам его, а этот, – продолжала она, указывая клюкою на Малюту, – этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое, теплое место!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.

Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.

– Что ж, Лукьяныч, – сказал наконец царь, – винятся Колычевы?

– Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!

Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.

Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.

Его разбудил как будто внезапный толчок.

Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.

Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.

Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился.

Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навывкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.

«Опять наваждение! – подумал царь, – но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его!»

Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.

Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.

Мертвец наклонился перед Иоанном.

– Здрав буди, Иване! – произнес глухой нечеловеческий голос, – се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!

Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.

Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольного Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.

Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:

– Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!

За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:

– Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!

Потом показали князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметев и другие казненные или убитые Иоанном.

Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:

– Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!

Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.

Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью.

На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.

Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручонки и лепетали:

– Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!



М.П. Клодт. Иван Грозный и тени его жертв (Ивану Грозному являются тени им убитых)

Изба всё более наполнялась призраками. Царь не мог уже различать воображение от действительности.

Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.

– Именем Бога живого, – произнес он, – если вы бесы, посланные вражью силою, – сгиньте! Если вы вправду души казненных мною – дожидайтесь Страшного суда Божия! Господь меня с вами рассудит!

Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю послышались как будто звуки труб и голос, вызывающий:

– Иване, Иване! на суд, на суд!

Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню.

– Вставайте! – закричал царь, – кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!

Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.

Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шляками.

Вся Слобода пришла в движение. Церковь Божией Матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом Божиим.

Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные светочи. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих камнях.

Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:

– Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, Господи, души побитых мною безвинно!

У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.

Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.

– Встань, батюшка! – сказала Онуфревна, – я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!

Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.

Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Храмовые врата поглощали всё новых и новых опричников, и исполнинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.



В.Г. Шварц Шествие Ивана Грозного к заутрене

Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.

Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.

– Это царь заутреню служит! – сказали они. – Умягчи, Боже, его сердце, вложи милость в душу его!

Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач.

Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

– Молчи! – говорила она наконец, – молчи, не то Малюта услышит!

И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да непрерывный звон колокольный.

Глава 12

Клевета

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча.

Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.

Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.

Конский топот и веселая молвь слышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.

– Клянюсь тебе земно, боярин Малюта! – сказал царевич, останавливая коня. – Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?

И царевич захохотал.

Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженной головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.

– Да что он грязь-то стирает? – заметил Басманов, желая подслужиться царевичу, – добро, на ком другом, а на нем не заметно!

Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу.

«Добро! – думал он про себя, – дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженном сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.

Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, непрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Всё испытанное ночью опять представилось ему обморочением дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Враг имени Христова, – думал он, – упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не уstraшуся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»

И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.

И стал он мыслию пробегать подданных и между ними искать предателей.

Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным.

Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений.

Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред.

– Государь, – сказал, помолчав, Григорий Лукьянович, – ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положишься на меня. Я про всё заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею: не сумею заставить их назвать твоего наибольшего супротивника!

Царь с удивлением взглянул на любимца.

В глазах Малюты было что-то необыкновенное.

– Оно, государь, дело такое, – продолжал Скуратов, и голос его изменился, – что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится...

Царь смотрел на него вопрошающим оком.

– Вот ты, государь, примерно, уже много воров казнил, а измена всё еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и вдесятеро более, а измены всё не избудешь!

Царь слушал и не догадывался.

– Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровехонек!

Царь всё еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством.

– Видишь, государь, как бы тебе сказать... Вот, примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал, дай Бог тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, трудного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно, братец твой Володимир Андреич!

«А! – подумал царь, – так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоился я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата!»

– Говори... – сказал он, обращаясь грозно к Малюте, – говори, что знаешь про Володимира Андреича!

– Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.

– Про кого же? – спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.

– Видишь, государь! Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим...

Малюта замаялся.

– Кого? – спросил царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленел.

– Государь! Не всё пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.

– Кого? – повторил Иоанн, вставая с места.

Малюта медлил с ответом.

Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

– Государь, – сказал он вполголоса, – ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!

– Говори! – произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.